



Лилии Сенченко,  
увлеченной  
своей работой  
и помогающей  
найти все,  
что скрыто.

Пусть мертвое  
прошлое  
хоронит  
своих мертвецов.

Э.М. Ремарк  
Три товарища



На улице шел дождь. Это лето в Москве вообще оказалось щедрым на дожди, они всё шли, затапливая улицы, словно насмешливо напоминая о далекой Венеции, кажущейся сейчас из-за карантинных ограничений несуществующей. Как, к примеру, Луна. Хотя Луну по ночам хотя бы в окошко видно.

Впрочем, для пожилой женщины, сидящей сейчас на мокрой скамейке, наклонившись вперед, чтобы не чувствовать спиной влажную деревянную спинку, и кутающейся в непромокаемый плащ, Венеция и Луна были равно далеки от реальности. И то и другое она видела только на картинке и даже не мечтала никогда, что может оказаться там на самом деле. Она же не Илон Маск.

Кто такой Илон Маск, она тоже не очень понимала. Про него и его полет на Луну что-то говорила внучка Тонечка. Или это не сам Маск полетел на Луну, а только корабль, строительство которого он оплатил? Или вообще не на Луну, а просто в космос? Ежасьуюся от сырости женщину эти детали совершенно не интересовали. Все ее мысли сейчас были сосредоточены на том, что, наконец-то, она сможет дать Тонечке все, чего та заслуживает. Больше кровиночке не придется мыкаться по

съемным квартирам, потому что бабушка купит ей свою собственную. Не надо будет сниматься в третьесортных сериалах, чтобы заработать, а можно будет спокойно тратить время на пробы, чтобы получить настоящую роль. Ту, что прославит девочку навсегда. А для этого нужны деньги. Большие деньги, которые у нее теперь будут. Совсем скоро.

Женщина посмотрела на часы — маленькие золотые часики, подаренные давным-давно на окончание школы, на долгую память — и нахмурилась. Человек, которого она ждала, опаздывал, а это было неправильно. Что ж, то, что у нее действительно оказалась долгая память, — к лучшему. И ее непунктуальный визави за это заплатит. Щедро заплатит. Так, что хватит и Тонечке на баззаботную жизнь, и ей самой на безбедную старость. Что ж, это хорошо. Это славно.

Боль, неожиданная, а от того особенно пугающая, возникла ниоткуда. Вот только что она сидела на мокрой лавочке, подставив лицо потокам влажного воздуха, и думала о внучке, и у нее ничего не болело, а мгновение спустя острое жало ввинтилось под левую лопатку и тут же заполнило собой грудь, разрывая ее на части. Еще через миг пожилая женщина осознала, что умирает.

Это было так неправильно и настолько не вовремя, что она попыталась жалобно вскрикнуть от терзающей ее бессмысленной несправедливости. Не сейчас, пожалуйста, не сейчас. Пусть не будет никакой безбедной старости, пусть вообще больше ничего не будет, лишь бы успеть получить деньги, которые она заслужила по

праву. Получить и передать Тонечке. Она не может сейчас умереть, оставив девочку без всего. Не может. Не должна.

Человек, стоящий за ее спиной, усмехнулся тому, что эта глупая курица, осмелившаяся на банальный шантаж, даже не успела ничего понять. То, что она сидела, наклонившись, существенно облегчило задачу. Опирайся она на спинку скамьи, пришлось бы импровизировать, а так все получилось как нельзя лучше. Тихо скользнуло в карман просторного плаща сделавшее свою работу шило. Чувства триумфа от восстановленного порядка не возникало. Чувства удовольствия от совершенного убийства — тоже. Кто говорит, что убивать приятно? Только маньяки. Маньяком человек в плаще себя не считал и убивать ему не нравилось. Он просто делал то, что было необходимо. Вот и все.

Бросив последний взгляд на пустынный в такую погоду бульвар, человек пошел прочь. У скамейки, на которой все так же сидела одинокая старушка, убийца провел не больше двадцати секунд.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

*1969 год, Магадан*

Старуха вызывала восхищение, граничащее с ненавистью. До того, как Иринка ее узнала, она даже не догадывалась, что можно восхищаться и одновременно ненавидеть, и что эта ненависть, вызванная чужим превосходством, недостижимой элегантностью и породисто-

стью, что ли, может быть такой сладкой и острой одновременно. Практически как оргазм.

Потерю девственности в пятнадцать лет, да еще в сугробе за одним из деревянных барачков, на кои так щедр был город, старуха точно не одобрила бы, но рассказывать о своем первом сексуальном опыте Иринка и не собиралась. Меньше знает, лучше спит.

Распеканий и выговоров она не боялась и скучных нотаций тоже. Старуха никогда не орала, Ира вообще ни разу не слышала, чтобы она когда-нибудь повышала голос. В минуты недовольства чьим-то несовершенством — Иринкиным, Нюркиным, Глашкиным ли, неважно, — она лишь изгибала красивую холеную соболиную бровь, немислимую в местных широтах, словно не недовольна была, а изумлена. И от этого движения брови собеседник тут же превращался в раздавленную, распластанную на стекле муху, уже обреченную, но еще живую, вяло перебирающую лапками в преддверии неминуемой кончины.

В старухе вообще все было немислимым, невозможным для Магадана: высоко забранные в ракушку на затылке густые волосы, брошь-каменя у тонкого горла, длинные пальцы в перстнях, которые старуха не снимала, даже когда мыла в холодной воде посуду, длинные, чуть шуршащие юбки до пола, из-под которых никогда и ни при каких обстоятельствах не показывался даже краешек чулка, спокойный взгляд серых глаз, никогда не темневших от ярости, боли или разочарования. Спокойными как вода подо льдом были эти глаза, как будто никогда не знавшие страсти. Вечно обуреваемую страстями Иринку это спокойствие бесило.

Каждый раз, оказываясь у Глашки в гостях, она внутренне собиралась, скручивалась в тугий узел, чтобы тщательно контролируемые эмоции не вырвались наружу, не сорвали маску бедной, но вежливой девочки из очень простой семьи, которая готова на все, лишь бы получить образование и вырваться из той мерзости, в которой проходила ее жизнь.

Она и правда была готова на все, чтобы уехать из Магадана, поступить в институт в далекой, никогда не виданной Москве, а потому и в школе училась яростно, не давая себе ни малейшей поблажки, и к Глашке таскалась каждый день, глуша ярую ненависть к старухе, потому что та натаскивала их обеих на поступление в институт, хваля Ирину даже больше внучки. И за усердие, и за талант.

Да, старуха говорила, что одетая в перелицованное материнское пальто и сшитую из старых штор юбку девчонка, чей отец отбывал наказание за то, что снял скальп с конвоира, очень способна к наукам. Иринке хотелось верить, хотя иногда она нет-нет да сомневалась, что Глашкина бабка говорит правду. Вдруг просто жалеет? Впрочем, жалостливой Аглая Дмитриевна не была, наоборот, выглядела жесткой, как металлическая балка, и закаменевшей, как сверхпрочный кусок гранита. Что ж, на то у нее, надо признать, было достаточно причин.

Насколько старуха была твердой, настолько Ольга Александровна, ее дочь и Глашкина мама, была пластичной, напевной, текучей. Иринке нравилось смотреть, как Ольга распускает волосы. Достает шпильки из тяжелого

узла на затылке, чуть встряхивает головой, и шелковый водопад все льется на узкую спину с выступающими ключицами, словно и не кончится никогда.

Острое несоответствие между высеченным из камня профилем матери и неуловимым, постоянно меняющимся выражением лица дочери, словно выполненного из мягкой, тающей под пальцами глины, цепляло и завораживало Иринку так остро, что иногда, приходя в дом к Колокольцевым, она забывала дышать.

Любопытно, что неспешная, вялая, слишком худая красавица Ольга с ее пшеничными волосами и тихим, всегда немного извиняющимся голосом Иринке нравилась, несмотря на полное отсутствие в ней характера, огня, внутренней силы. А вот старуху с ее железным стержнем внутри она ненавидела, хотя и восхищалась ею.

Бушевавших в Иринке страстей Глашка не замечала. Для нее Ира Птицына была просто верной подружкой, самой близкой, той, что в начальной школе защищала от нападок одноклассников-хулиганов и однажды даже огрела по голове портфелем Диму Зимина, который Глашку истово ненавидел, а потому задира с особой жестокостью, какая встречается только в детстве.

Иринке Зимин нравился, точнее, она его любила, но не вступить за Глашку не могла, потому что это было бы не «по понятиям». В Магадане, где все население, пожалуй, делилось на зэков и конвоиров, не вступить за своего считалось позором и слабостью.

Иринка и сама не знала, когда так случилось, что Глашка стала для нее своей. Точнее, это она стала своей

в доме Колокольцевых. Между нею и ее подругой зияла пропасть, которую было не перепрыгнуть. Тихон Колокольцев долгое время был начальником прииска, на котором работали заключенные, и, хотя Иринкин отец там не сидел, для нее этот факт все равно должен был быть основополагающим. Но почему-то не стал.

К тому моменту, как Иринка и Глашка встретились за одной партией, чтобы больше не расставаться, прииск был уже закрыт, а Колокольцев переведен на партийную работу. Второй секретарь обкома... Его нынешняя должность делала разверзшуюся между двумя девочками пропасть еще более широкой, однако Иринка, понимая, что перепрыгнуть через нее невозможно, шла над пропастью по туго натянутому канату, ежеминутно осознавая, что может сорваться и погибнуть, но все-таки умудряясь балансировать и мечтая только о том, чтобы канат нечаянно не провис.

Глашку называли в честь бабушки, что вызывало у Иринки легкое недоумение. Как жить в одной квартире людям, которых зовут одинаково, и не запутаться? Впрочем, если хорошенько рассудить, в этом не было ни капли странности. Аглая Дмитриевна — божество, совершенство, тигр с головой античной статуи — отравляя своим существованием все вокруг, оплетала, как многощупальцевый спрут, слабовольную дочь и могущественного зятя, соседей и знакомых, школьных учителей и педагогов театральной студии, в которой занимались Глашка, Нюрка и Иринка. Внучку же она и вовсе подчинила себе целиком и полностью, и общее имя было лишь малой толикой этого глубинного обладания.

Однажды Иринка попробовала обсудить это с Нюрой, третьей их подружкой, конечно, не такой близкой к Глашке, как сама Иринка, но тоже входящей в узкий доверенный круг «своих», которым позволено было приходить в квартиру Колокольцевых. Так эта дуреха даже не поняла, о чем Иринка толкует.

— Ты что, Ир, — спросила она, смешно округляя глаза, почти лишенные ресниц. Из-за этого Нюрка была немного похожа на сову, но никто не смел ее дразнить, потому что не хотел получить от Иры Птицыной портфелем по голове. — Ты что, считаешь Аглаю Дмитриевну злой? Но она ведь очень добрая. И Глашку любит, и Ольгу Александровну, и к Тихону Ильичу с уважением относится, понимает, что он их с Ольгой от верной смерти спас, а теперь обеспечивает так, как в Магадане мало кому удается. И мы с тобой от нее ничего, кроме доброты, за все эти годы не видели. Она же нас практически вырастила.

— Вырастила... Скажешь тоже, — фыркнула Иринка.

— Ну, может, и не вырастила, но кормила наравне со своей внучкой, и книжки давала читать, и на все вопросы всегда отвечала, о чем ни спроси. Почему ты ее не любишь?

— А с чего мне ее любить, она не моя бабушка, а Глашкина, вот пусть та ее и любит, — независимо шмыгнула носом Иринка, хотя Аглая Дмитриевна запрещала так делать, уверяя, что врожденное отсутствие хороших манер проявляется именно в таких вот мелочах. Обычно Иринка за собой и своими манерами следила, а сейчас не сдержалась, с ужасом понимая, что практически спалилась. — И вообще, с чего ты взяла, что я ее не люблю?

Я Аглаю Дмитриевну очень уважаю и благодарна ей за все, что она для меня делает. Если бы не она, у меня бы даже призрачного шанса на поступление в институт не было.

— Счастливые вы с Глашкой, — завистливо протянула Нюрка. — В Москву поедете. Как бы я хотела хотя бы одним глазочком на Москву взглянуть. Но с моим аттестатом мне только на хлебозавод дорога. Хотя вот поступите вы с Глашкой, будете в Москве жить, а я к вам в гости приеду. Хотя бы ненадолго. И вы мне все-все в Москве покажете.

— Ага, приедешь ты, тебя мамка не отпустит, — насмешливо сказала Иринка, чувствуя, что опасный поворот разговора пройден.

— Конечно, не отпустит. Ей ни за что денег на самолет не собрать, да и оробеет она меня отпускать. Тебе хорошо, у тебя мамка смелая.

Иринка, прекрасно знавшая, что мама свое отбоялась много лет назад, дипломатично промолчала. Молчать было спокойнее. Правильнее. И с чего это ее сегодня на откровения про Аглаю Дмитриевну потянуло? Привычная застарелая ненависть к старухе вспучилась, как трясина, раздираемая болотными газами, и тут же послушно улеглась на положенной ей глубине. Никто не должен догадаться о раздирающих душу Иринки страстях. Никто. Когда она снова подняла на подругу глаза, они были ясны и прозрачны, как морская вода весной. У нее нет повода ни для ненависти, ни для беспокойства. Если бы кто-нибудь в тот момент сказал семнадцатилетней Иринке Птицыной, что совсем скоро она умрет, она